

## Фантом

---

Паре глаз, случайно забредшей дальше заглавия, на эти вот строки, — тут нечего делать. Пусть глаза — чьи б они ни были — поворачивают обратно. В последующем тексте нельзя будет сыскать фантомов, порожденных бредом и сном, равным образом рассказ пройдет мимо фантомов аллегорических и символических: объект его — архипрозаичный, из дерева, резины и кожи, так называемый медицинский фантом. Точнее: одна из существеннейших его принадлежностей. Ну вот, и не надо дальше, отдергивайтесь с строк — оставьте меня наедине с моим рассказом.

Впрочем, я буду лишь пересказчиком: мне принадлежат только слова, а факты ему — Двудюд-Склифскому. Проверить его бытие, невыдуманность поставщика фактов, чрезвычайно просто: стоит лишь фантазии — дойти до этого вон слипшегося из кирпичей и труб дома. Тут фантазии надо стать на цыпочки и дотянуться глазами до одного из окон седьмого этажа, под самую покрывшую громады. Навстречу ее глазам и рассвету под невыключенным жухло-желтым электрическим пятном — квадрат стола, поверх него — квадрат раскрытой книги, поверх книги — щекой и ухом в буквы со стянутыми веками и сонно расплзшимся ртом голова Двудюд-

Склифского. Рассвет крепчает — и сейчас уже можно рассмотреть те из слов поверх плоской бумажной подушки, которые не попали под притиск головы:

«...и после того, как родовой канал фантома будет загнут наподобие рыболовного крюка, фантому изготовляются бедра и мягкие части, которые, подобно мягкой мебели, набиваются волосом и мочалом и обтягиваются холстом. После этого прибор обшивается вымоченной и размягченной кожей и в него, имитируя *labia majora*, вделывается щелеобразно разрезанная резиновая пластина толщиной в четыре-пять миллиметров (резина берется серая, сплошная, какая идет обычно на подклейку подошв). Теперь, когда главную составную часть аппарата, его, так сказать, душу, можно считать готовой, необходимо сладить...» — но «сладить» уперлось в макушку спящего, и дальнейший текст ныряет под всклокоченные волосы спящего, огибая какими-то «принадл... хотя и не... способ проф. Шульце... просп...» выпуклую линию лба и горбину носа с ритмически вздувающейся и опадающей ноздрей.

Что это? За стеной зашлепали туфли, загудел — металлическим шмелем — примус, а колун, втискиваясь в полено, начал с ним глухую и гулкую возню на кухонном полу. Двудюд-Склифский вздрагивает, сдергивает голову со строк и протирает глаза. Дочитаю: нет, — Двудюд захлопнул книгу и, позевывая, подходит к умывальнику. Затем шесть металлических орлов клеветывается в шесть петель серой студенческой куртки. За стеной слева часы, с ржавым прихрипом, кашляют девять раз кряду. Мой поставщик фактов прячет приглаженные вихры под синий околыш фуражки и толкает дверь. Теперь фантазии надо опуститься на пятки и глядеть в оба: действие предоставляется Двудюд-Склифскому.

I

---

Дверь в аудиторию глухой доской отделяла зачеркнутые номера от незачеркнутых. Дюжина незачеркнутых бродила около надверного списка, влистая в книги, налипая спинами и локтями на стены и выступы подоконников. От времени до времени истертая ручка шевелилась и дверные створки, разомкнувшись, выпускали отэкзаменовавшегося. «Следующий».

Склифский переступил порог. Сверху — белые разлеты свода. Ниже глаз — обвислое, в чернильных пятнах, зеленое сукно. Слева — мучительно шевелящиеся лопатки студента, наклонившего пунцовые уши навстречу вопросам экзаменатора. Стул под студентом, встав на передние ножки, изгибью задних лягал воздух. Из-за его спины нет-нет взметывались манжеты приват-доцента и в гулкое гуденье из-под ворошащихся лопаток вцеживался острый говорок. Стул у правого выступа стола был свободен. Красное вздутое лицо под седыми иглами моргнуло Двудюду из-под очков: тяните. Он подошел и перевернул картонный квадрат: 39.

— Что там у вас? М-мм... «фантом; его принадлежности; основные упражнения». Так. Никита.

Расторопный служитель метнулся к препарату, и на Двудюд-Склифского, повизгивая колесиками, покатился, пяля деревянные обрубки ног и раскачиваясь холщовыми бедрами над ввинченными в табурет винтами, фантом.

— Что вам известно об акушерской кукле или заменяющем ее...

Учебник заворошился в Двудюде и стал швыряться строчками:

— Кукла, изготавливающаяся обычно из резины и бумажных прослоек, современной практикой оставлена.

При изучении наложения щипцов — в случаях головно-го положения, особенно при прямом диаметре, — пользуются обыкновенным кожаным мячом с впрессованной в него паклей, — в случаях же более сложных тракций прибегают к трупiku мертворожденного, соответственным образом инъецированному и подготовленному.

— Вот-вот. Никита.

И Никита, забежав с другого конца стола, пододвигал стеклянную ванну, за толстыми гранями которой, втиснув лилово-белые ладони и пятки во вспучившееся проглицериненное тельце, растревоженная толчками, по темя в спирту, сонно раскачивалась «принадлежность» фантома.

Пальцы профессора зашуршали в седых иглах:

— Ну вот. Прооперируем. Положение четвертое. Лицевое предлежание. Диаметр головы чуть скошен. Приготовьтесь — и спокойненько.

Никита, ободряюще склабясь на студента, свесил свои длинные руки над стеклянной купелью и подшепнул:

— Фифка.

Двулюд понял: и у этого сотню раз отрождавшегося трупика, покорно — из щипцов в щипцы — моделирующего роды, было свое невесть кем придуманное имя. Не сводя глаз с младенца, Двулюд-Склифский надел резиновые перчатки и проверил защелк щипцов. Тем временем голова Фифки показалась из-за стеклянного края: круглый лоб его был в охвате из вдавленнн — десятки щипцов, уже протащивших его сквозь фантом, казалось, — прежде жизни — одели голову нерожденного в страдальческий венец из багрово-сизых язв; веки его — меж синих кругов — были плотно сжаты; из ротовой щели капала слизь и спирт.

Скользким движением Никита вставил препарат в раскрытую тазовую полость фантома: тот шевельнул ногами и напряжился, скрипя стойкой. Двулюд, нагнувшись к прибору, ввел — осторожной прощупью — навстречу темени Фифки — сначала указательный и безымянный левой руки, держа большой палец на оттяжке: тотчас же прощупался стреловидный шов и верхний край уха. Правая рука подвела сначала одну, затем другую ложку щипцов, тотчас же крепко втиснувшись в виски фантому. Защелкнулся замок — и в эту-то секунду — Двулюд явственно услышал — там, внутри, за резиновой щелью, что-то тонко и жалобно вспискнуло. Не улавливая причины, студент выпустил щипцы и поднял глаза к профессору. Но профессор смотрел куда-то мимо и вдруг, гневно помотав бородкой, сорвался с места навстречу голосам за дверью; тотчас же голова его провалилась в дверную щель, выкрикивая что-то о шуме, о безобразии, о «черт знает что», о науке и мальчишках. Никита, вытянув шею к порогу, сопереживал. Но Двулюду вся эта внезапная сумятица была уже еле внятна, и, как сквозь муть, вернувшись глазами к фантому, он теперь видел: защелкнувшиеся щипцы, растягивая резину, плавно вращаясь по спирали, с тихим чавком ползли наружу из фантома; за ними — толчок к толчку — голова, а там плечо, топырящийся локоть, перетяжки ножек. Тельце свисло, качнулось и, боднув щипцами половицу, мягким шлепом оземь. Студент стоял в полной растерянности, не понимая и не пробуя понять.

Громко ударила дверь, и профессор, отшумев и отнегодовав, победоносно прошествовал к столу:

— Что там у вас? Ага. Готово? Тэк. Удовлетворительно будет или не весьма? Убрать это.

Опережая Никиту, Двулюд-Склифский, с неожиданным для самого себя проворством, расцепил щипцы

и, схватив тельце поперек, опустил его меж стеклянных стен: что-то больно ухватило его за палец, — он вырвал руку — на поверхности спирта булькнули пузырьки: никто ничего не заметил. Препарат вдвинули назад, в затененный угол аулы. Фантом, распялив ноги, ждал следующего. Склифский, стиснув прыгающие челюсти, выскользнул в дверь. Его обступили — что спрашивает, трудно ли, легко ли: не отвечая — мимо.

## II

---

И сразу же дни завертело, как крылья мельницы. Экзамен был последним. В двое суток предстояло уложиться, наладить дела, оторваться от города, уехать. А тут ввертелась сумятица проводов, товарищеских пьянок и всяческой традиционной бестолочи. Двухлюд-Склифскому десятками ладоней жало ладонь, проспиртованными губами тыкалось в губы, он подпевал «Гаудеамусу», качал, его качали, качало на рессорах — с ухаба на ухаб, из кабака в кабак. К концу второй ночи сумятица завезла к каким-то крашеным бабам. И тут — неожиданно для себя — сквозь путаницу дергающихся в пальцах тесемок, хихиканье и шорох слов — вдруг предстал ему раскоряченный, осклизло холодный и мертвый фантом. Склифский, мгновенно протрезвев, оборвал скоропостижный роман, шагал петлями переулков и думал: «Тянул я его, или он сам, — щипцами или...»

Так неясный случай впервые всплыл, выставился головой вверх и тотчас же назад, к дну, в муть и сон.

Склифский проснулся лишь перед вечером. Все как будто в порядке. Через три часа к поезду. Виски сжал, точно щипцами. Во рту — слизь и спирт. Склифский

решил прогулять свою головную боль: с седьмого вниз; улица; желтый пунктир фонарей; ни о чем не думая — лишь бы голову из зажима, — он тупо двигался, втягиваясь в провалы улиц, от тумб к тумбам, мимо мелькания черных и желтых окон. Вдруг навстречу поплыли белые граненые камни университетской стены. Снизу, из каменной лузы, оттуда, где стена вращалась в землю, вдруг вспыхнул свет. «Тут где-нибудь и Никита», — скользнуло по мозгу, и щипцы, вдруг разжавшись, выпустили голову: боли не было. Двудюд-Склифский взглянул на часы: все равно, ведь он уже не здесь и еще здесь, — и притом, надо же скостить лишний час.

Он прошел в ворота, ища глазами, у кого бы осведомиться, и тут же, чуть ли не на первом крыльчке, выступавшем на квадрат двора, различил сквозь завязь сумерек длиннорукую, с плечами, свисшими над землей, размышляющую фигуру Никиты. Склифский окликнул его.

— Уезжаю, брат. Сегодня.

— Что ж, счастливого пути.

— Я тут забыл одну вещь.

— Чего?

Никита зевнул и отвернулся.

— Ты тут в подвале?

— Угу.

— И как — один или дети у тебя?

— Не.

— А как ты тогда по имени того, фантома, помнишь: Филька или Федька...

— Фифка, — поправил Никита, — а если вы забыли что, можно и поискать: у нас не пропадет.

Никита нырнул к себе в подвал и тотчас же вышел, звеня вязкой ключей. Отщелкнулась дверь — за дверью дверь — из коридора в коридор, гулко шагая, двое дошли

до низкой белой дверцы в эмбриологический кабинет. Никита нащупал нужный ключ:

— Д-да, Фифка, а вы вдруг Федька. Скажете. Э, да тут открыто: что бы это?

Дверь, действительно, откачнулась от легкого толчка. Навстречу — из сумерек — в два ряда — стеклянные кубы, бутылки, толстостенные ванны, реторты и ваннычки.

— Слева. 14-б. Тут вот за стеклышком он и есть: малюга-то.

И вдруг ключи лязгнули о пол.

— Что за притча.

За прозрачными гранями ванны лишь сниженная поверхность спирта: ни на ней, ни под ней — ничего. Включили свет: на полу — от стеклянного куба к порогу короткошагий мокрый след босых дробных детских ступней. Пока двое, наклоняясь к половицам, рассматривали отгиск пяток, их спиртовые контуры, испаряясь, быстро тускнели — и через минуту — будто и не было.

— Значит — только что...

— Что только что?

— Ишь ты. Где-нибудь тут. Хоронится. Поискать бы. Фиф, а Фиф...

Оба, тихо ступая, подошли к двери: вправо и влево под пещерными свесами сводов тянулись бесконечные пустые коридоры, гулко подхватывающие шаг. Никита двинулся было в сумрак, но, не слыша за собой шагов, оглянулся:

— Ну а вы?

— Мне на поезд. Опоздаю.

— Ну-ну. Ну́ и ну́.

Оба молча повернули к выходу. Через час с четвертью Дзулюд-Склифский сидел за стеклом вагонного окна. Поезд дернуло: казус с фантомом, резко оторвавшись, остался где-то назади. Но все же о с т а л с я.

Ш

---

Уезжая в деревню, в земство, молодой врач Двудлюд-Склифский предполагал поделить время меж людьми и книгами, амбулаторией и библиотекой. Он вез с собой несколько пачек неразрезанных книг. Но в предположения его вторглась война — и вместо разрезания страниц пришлось заняться разрезанием тел. Летучки, эвакупункты, околотки, госпиталя. Лица под хлороформными масками. Массами. С носилок на стол — со стола на носилки. «Следующий». Глянц и звяк пинцетов и скальпелей: в спирт — в кровь — в спирт — в кровь. Пока, как-то в поле: блеснуло и грохнуло — сознание вон. Контузия, тяжелая форма. Отлежался. И снова лязг и шорох скальпеля: то в спирт, то в кровь. Но кожа на тыльной части головы и вдоль позвонков будто чужая. Нет-нет и мутные пятна в глазах, и земля точно скользким волчком из-под ног. В конце концов, постранствовав по инвалидным разрядам, доктор Склифский выключился из войны и смог вернуться к своим успевшим пожелтеть книгам, настенной деревенской аптечке в полуопустелую, угрюмую, выкорчеванную войной бабью деревню. Вывихнувшаяся жизнь пробовала вправиться в вертлуга: Склифский читал свои книги, делал выметки, писал рецепты и письма на фронт, лечил третичные сифилисы и ходил на панихиды по «убиенным»; по вечерам слушал сверчка ипил разбавленный спирт. Но сам Склифский, очевидно, не долечился: временами ощущалось, будто контузия расплзается по телу, и уж не затылок, а вся голова в тесной и чужой, мертвой какой-то коже.

Затем... ну, всем известно, что было затем. Каждый запомнил то, что умел и хотел запомнить. Двудлюд-Склифский: тифы — пожары — бездорожье — бескнижье — голод. Бутыль для спирта долго пустовала, но когда снова наполнилась, Склифский стал пить не разводя.

IV

---

Неясный казус, отждав годы, выбрал для возврата сумеречное осеннее предгрозые. Приплыли тучи и стали на якоря. Заря попробовала сквозь их дымный осмол, но лучи ей затиснуло меж тяжких тучьих кузовов.

Двулюд-Склифскому нездоровилось: иглистая многоножка, заворотившись под кожей, проерзнула раз и другой по позвонкам. Попробовал было из угла в угол — не шагается. Постоял у книжной полочки, вщуриваясь сквозь сумерки в привычные корешки: томик Дюамеля, Файгингерова «Philosophie des Als-Ob», гизовский перевод Фейербаха, «Metapsichologie» Рише. Отвернулся. К другому столу: забулькало из бутылки. Еще и еще. Потом к столу. Сел. Подошвами в стенку. Многоножка под кожей втянула иглы и не шевелилась. Об оконце (прямо против глаз) сначала брызнуло песчинками, потом ударило первыми каплями. Ветер рванул за дверной болт, дверь подалась, и отрывной календарь на стене задвигал ненаставшими датами. Двулюд-Склифский, не отдергивая подошв от стены, оглянулся на дверь: в длинную вертикальную щель меж дверным краем и стеной, вслед за ветром, протискивалось плохо различимое от сумерек человекоподобное ч т о - т о.

Склифский — как от толчка — встал и шагнул к порогу:

— Кто?

Существо, не отвечая, продолжало медленно, но настойчиво протискиваться в тугую щель приоткрытой двери.

«Обезмускуленное», — с недоуменным спокойствием подумал Склифский и, ускорив шаг, уперся ладонью в доску двери.

Апперципирующий аппарат его вбирал в себя феномен с полной ясностью и дифференцированностью. Даже струи ветра, тянувшие — сквозь щели тихое ф-ф-ф, не выпадали из восприятия.

— Кто? — повторил он чуть тише и хладнокровно (как если бы это был лабораторный опыт) стал надавливать ладонью на дверь: между косяком и ладонью было что-то тестообразно-вязкое, дрябло расползающееся и плющащееся под нажимом планки. И тогда-то из щели — точно выдавленное ладонью:

— Фифка.

Внезапно, с слепящей ясною: распял щели — шов под пальцем — голова — вниз и об пол: надо было тянуть, а он... Склифский потянул за дверь — и впустил.

— Я... всего лишь... о щипцах... — голос вошедшего от слога к слогу становился все более внятным, — зачем вы — вы все насильно меня... и если уж... то не до конца?

Голос оборвался. Не отвечая, Склифский чиркнул спичкой и занес желтый огненный лоскут над головой, вщуриваясь в феномен: оконтурилось низкорослое что-то на рахитическом вдужьи ног; над ссохлыми, вплющенными внутрь тела плечами огромная тыквовидной формы голова; по вспучине лба — от виска к виску — следы щипцовых втисков, — знакомый, сплошной опоясью охвативший темя венчик из вдавлений; разжатый рот... но спичкой ожгло пальцы, и Склифский — сквозь упавшую меж ним и тем тьму — услышал:

— Да, это помогает: от волков и привидений. Но меня чирком и спичками не прогнать: ведь даже солнце бессильно рассеять вас, называющих себя людьми.

Склифский ждал всего, кроме аргументов:

— Н-нет. Я не за тем. И незачем поручать спичке то, что должна сделать логика. Слышимому отчего б не переброситься на зрительные перцепты. Ты — факт, но,

так сказать, бесфактный факт. Короче: галлюцинация. И я, я не был бы врачом, если б...

— И ты мог подумать, — качнулся задернутый ночью контур, — что я стану втискиваться в ваше бытие, как вот в эту дверь. Наоборот, я такого рода галлюцинация, которой нужно не реализоваться, не вкорениться в чьи-либо воспринимающие центры, а дегаллюцинировать, выключиться начисто, сорваться с щипцов: назад — в нуль, под герметическую крышку, в стекло банки, из которой — вы же, вы, люди, — хитростью и силой выволокли меня в мир. Кто позволил? Я спрашиваю, кто?

Склифский отшагнул к столу, но контуры фантома не приблизились, продолжая маячить под черной притолокой.

— Галлюцинация, — вновь в настороженный слух, — а слова — твои и мои — не галлюцинация? Или ты станешь утверждать, что наш разговор наполовину есть, наполовину не есть; но как же мои слова, не существуя, рефлектируют твои ответы, которые, конечно, существуют: или и их нет? Даже при минимуме логики, признав хотя бы одну наималейшую вещь, одно наиневянейшее явление среди неисчислимости других, за галлюцинацию, должно распространить этот термин и на все остальное. Представь себе человека, которому в сновидении мнится, что он заснул и видит сон. Этот свой сон во сне спящий не принимает за действительность, он расценивает его правильно как мнимость, видение. Но утверждать, что сон, внутри которого — сон, реальнее последнего, то же самое, что говорить, будто круг, описанный вокруг многоугольника, геометричнее вписанного.

— Постой-постой, не скороговорь, дай додумать, — всплыл Склифский, — ты говоришь, что...

— Что ты — и всякое вообще ты — вы создали себе мир и сами непробудно мнимы: я пробовал исчис-

лить коэффициент вашей реальности: приблизительно что-то около 0,000/X/...

— Гм... это похоже на начало какой-то странной философии...

— Может быть. Это всего лишь предпосылки к фантомизму.

— Ну и в чем же...

— Фантомизм прост: как щипцовый защелк. Люди — куклы, на нитях, вообразившие себя невропастами. Книгам известно, что воли несвободны, но авторам книг это уже неизвестно: и всякий раз, когда надо не внутрь переплета, а в жизнь, человек фатальным образом забывает о своей детерминированности. Глупейший защелк сознания. Фикция, на которой держится все: все поступки, самая возможность человеческих действий, слагающаяся в так называемую «действительность». И так как на фикции держаться ничего не может, то ничего и нет: ни Бога, ни червя, ни я, ни ты, ни мы. Поскольку все определяемо другим, то и существует лишь другое, а не самое. Но марионетке упрямо мнится, что она не из картона и ниток, а из мяса и нервов и что оба конца нити в ее руках. Она тщится измышлять философемы и революции, но философии ее — о мертвых несуществующих мирах, а революции все и всегда... срываются с щипцов. И вот тут-то и разъятый шов меж мной, фантомом *in expli\**, и вашими по-дилетантски фантомствующими сознаниями. И меня, и вас втянуло в псевдобытие причинами, но в то время, как вы, фантомоиды, доподданствовавшиеся в мире причин до небытия, мните отцарствовать в смехотворном «царстве целей», как называл его Кант, я, насильно живой, знаю лишь волю щипцов, втянувших меня в явления, — и только, — и поэтому вклю-

\* Как таковой (*лат.*).

читься в игру целеполаганий — как вы, — ощутить себя хотящим и действующим мне невозможно — никак и никогда; мною действуют причины — их ощущаю и осознаю, но сам я не хочу ни единого из своих действий и слов, и хотеть мне кажется столь же нелепым и невозможным, как ходить по воде или подымать себя за темя.

— Значит, и сюда тебя привела не цель?

— Нет.

— Ну а причины...

— Тебе лучше бы не торопиться с расспросами.

Сюда — из зажима щипцов — в разжим двери...

На минуту оба замолчали. За спиной Склифского, в квадрате окна, располыхивалась взметами зарниц воробьиная ночь. Повернув лицо назад — к впрыгивающим в избу взблескам, он сказал — мимо гостя — не то им, не то себе:

— Странно: такая сумерковая наводь, даже не фантом — какая-то там «принадлежность», — вскрикнулась... нельзя ли всю цепь — причину к причине — звено вслед звену. Там, у порога, табурет, — закончил он, обернувшись через плечо к приникшему к стене фантому.

Контур у двери, качнувшись, укоротился.

— Что ж. Даже многотомное жизнеописание, если из него убрать все цели, оставив ему лишь причины, — укоротится до десятка страниц. Попав в жизнь, как мышь в мышеловку, в дальнейшем я терпеливо ждал и жду, пока меня из нее вынут и... но начнем в порядке звеньев. Выйдя из стеклянной купели, я направился к порогу, сам не зная, куда он ведет. Меня встретило сумерками и пуганицей пустых коридоров, гнавших меня в какой-то темный и душный чулан, забитый всяким тряпьем и хламом. Завернув себя в попавшиеся под руку лоскутья (бродя по коридорам, я иззяб), я стал вслушиваться в запрятанное меж толстых стен пространство: сначала ничего — потом, где-то вдалеке, два голоса и звон ключей.

Я пошел на звук, но не успел его догнать. Однако двери оказались открытыми, — они вывели меня сначала во двор, затем сквозь черную дыру ворот — наружу, навстречу огням и грохотам городской ночи.

Вначале я боялся: узнают, увидят: «фантом», схватят и назад — за стекло. Я прятал лицо под тени, жался к стенам, стараясь поплотнее закутаться в свое тряпье. Но вскоре я убедился, что предосторожности эти излишни: люди замечают лишь тех, кто им нужен, и лишь настолько, насколько он им нужен. А так как я... ну, одним словом, мне нечего было особенно тревожиться. Мимо шагали сотни и тысячи пар ботинок: вшнурованное в них мало интересовало меня и мало интересовалось мною. Иногда, когда я проходил по утренним бульварам, человечьи детеныши подымали на меня спрашивающие глаза. Я был еще в рост им и два или три раза пробовал ввязаться в их игры. «Не умри я тогда, до фантомирования, — думалось мне, — был бы как вот эти». Но эти со страхом и плачем отворачивались от того; их няньки и бонны махали на меня деревянными лопаточками и зонтиками: иди. И я шел, с трудом разгибая инъецированные ноги, — дальше и дальше — мимо множеств м и м о.

Там, в фантомной, меня недостаточно просушили, — и здесь, меж разогретых солнцем городских камней, это постепенно давало себя чувствовать. К каждому полудню меня облепляло мухами, втягивавшимися хоботками в мертвь. Стоило мне присесть, и тотчас же из всех подворотен сбегались псы: они пробовали ноздрями воздух, щетинили шерсть и, взяв меня в круг злобно растарашенных глаз, выли. Я швырял в них камнями и, прорвав круг, уходил дальше. Вскоре проклятое зверье загнало меня к городским окраинам: я ютился по пустырям и кладбищам, лишь к вечеру появляясь у скрещений улиц. От дождей и сырости мое тело разлипало и мякло; трупный яд, вкапливаясь в сулему и спирт, гноил и му-

чил меня. Так дальше было нельзя. Я решил привлечь на себя глаза мимоидущих, открыться, просить, чтобы назад — в стекло. Заголяя руки и лицо, я преграждал дорогу мимоидущим, протягивая — прямо им в зрачки — гниющую ладонь, но зрачки брезгливо одергивались, а на ладони оставались копейки. Медяки к медякам — и я мог прикупить в аптечном магазине еще день-другой полу-бытия.

Гусеница времени, выгибая свои петли, ползла сквозь дни. Близилась промозглая осень. Людей ютили их кровли; и я затосковал тоже — о моей стеклянной крышке. В одно из ненастий я решил вернуться: сам. Скользя по осклизи тротуаров, сторонясь встреч, от перекрестка к перекрестку, я добрал до ворот университета.

За воротами, на первом же крылечке, выступившем во двор, я различил сквозь сумерки наклоненную к земле фигуру человека. Это был Никита.

— Никита?

— Да. Меня удивило, что он мне не удивился. Это был чудаковатый, но добрый старик. Еще несколько лет до того (я узнал об этом после) он потерял жену и ребенка, — одиночество мучило его. Только этим и пытаюсь объяснить то, что старик поделил со мною свою каморку в подвале — и мы стали жить вместе. Впрочем, как я впоследствии понял из долгих рассказов старика, не я один сумел сыграть на его отцовских инстинктах. Не так ли? И еще: Никита рассказал мне, как ты струсил меня, в вечер твоего отъезда, помнишь?

— Дальше.

— Дальше — жизнь меж четырех подвальных углов. Я редко подымался над поверхностью земли. Никита таскал для меня спирт и сулему. По вечерам рассказывал мне о своих покойниках. Понемногу и я научился помогать ему в его хлопотне: вытирать паутину и пыль, расставить препараты, вести сложное хозяйство в сотню

замочных скважин. Он научил меня грамоте; и вскоре я стал шарить по библиотечным полкам и рыться в книжных знаках.

Однажды, в праздничный день, когда над городом гудели колокола и коридоры университета были пусты, Никита решил сводить меня к моей, как он сказал, «мамоське». Пройдя мимо ряда изузоренных солнцем окон, мы вошли в знакомую дверь: она стояла, среди шкафов и приборов, все так же распялив ноги, протертая и измызганная сотнями и сотнями ладоней и щипцов. С минуту мы молча постояли. В препаровочной было тихо. На стеклянных вспучинах реторт радужились солнечные блики. Никита торжественно тронул меня за плечо, и мы зашагали назад, вдоль торжественной пустоты коридоров.

Так, годы к годам. Сначала город рядился в трехцветное, затем — в красное. Мы со стариком редко выходили за каменное каре университетского двора. Помню, в один из дней, когда улицы были кровавы и гулки, мы сидели за трясущимися стеклами нашего подвала. Мимо окна, метнувшись мгновенной тенью, прогремыхал грузовик, — и тотчас же бумажная птица клюнула о стекло. Я потянул раму: за окном белела стопка прокламаций. Не отходя от подоконника, я стал читать вслух. Старик слушал, выставившись ухом к словам, потом сказал:

— Не для нас это с тобой, Фифка. Не для нас.

Затем — исподволь — проголодь и проголодь. Вначале меня даже радовало постепенное опустевание университетской громады: можно было по целым часам, не боясь встреч, бродить от книг к книгам. Но сквозь пулевые дыры в стеклах тянуло холодом, а на отопительных трубах кристаллился иней. Никита знал, что сырьем разводит мои швы и гноит тело: из последних сил смастерил он железную печку, таскался на рынок за

дровами, стремясь меня сберечь. Годы и голод сделали свое: я похоронил старика и остался совсем один.

Связка ключей, мое наследство, водила сквозь сотню дверей. Мелкой хлопотней опутинило жизнь. Никто меня не звал на свободную вакансию уборщика и сторожа, но призраки и фантомы — ты мог убедиться в этом — придерживаются явочного порядка. Десяток-другой профессоров да полуслепой библиотечарь, все еще шаркавшие среди приборов и книг, сквозь свои мысли, не замечали фамулуса, неслышно ступавшего вдоль стен, пододвигавшего вовремя приборы и копошащегося в темных углах среди шуршанья бумаг. Я заполнял анкеты. Против графы «ваша социальная принадлежность» я всегда вписывал: *п р и н а д л е ж н о с т ь ф а н т о м а*; против графы «временное занятие» каллиграфически выводил: *ч е л о в е к*. Неплохо, а?.. Ну, а подписывал я их...

— Любопытно, как?

— Двудюд-Склифский. Или ты не согласен меня признать?..

С минуту длилось молчание. Сквозь поредевшую ночь за окном проконтурились тополя. Из белой обступки стен выступили полочные ниши. Доктор, подойдя к одной из них, пошарил рукой меж бутылей. Забулькало. И пробка, звякнув, снова уселась в своем стеклянном гнезде.

— А меня так-таки и недосулемили, — послышалось сзади — гулко и вязко — словно сквозь слюну.

Рука Склифского — со стекла на стекло — продвинулась влево и, нащупав нужное, пододвинула гостю. Стоя в шаге от стола, Склифский почти различал круглые губы фантома, жадно влипшие в горлышко бутылки, и ясно слышал ритмические присосы дыхания. Наконец стекло и губы расцепились.

— Рекомендую, — подхихикнул Фифка, щелкнув ногтем о сосуд: едко-сладкий запах полз из открытого горлышка. Склифский отодвинул и прикрыл:

— Будет. Дальше.

— Дальше... я не видел впереди никакого д а л ь ш е. Ничьих шагов никогда на ступеньках ко мне в подвал. Даже сны мои стали безвидны и пусты. И казалось — только и произошло: вместо стеклянного мешка — каменный. По вечерам я сидел на пустом сеннике Никиты, зрачками в желтую дрожь коптилки, и смотрел — как поверх пятен сырости — пятна теней. Соседи, при встречах со мной, всегда носом в сторону, а костлявая поломойка из соседнего подвала как-то мне крикнула в спину:

— У, вживень!

Только тоска, что ни вечер, неслышно сойдя по осклизям ступеней, посещала меня в моем низком и темном четырехуголье. Временами я думал: а что, если минусом минус, небытием в небытие: а вдруг получится б ы т и е. И я медлил...

Кончилось тем, что однажды ночью, пробравшись в препаровочную, я выкрал свою мать и перетащил ее к себе в подвал. Надо же было хоть как-нибудь заштопать пустоту. Теперь я мог часто и подолгу рассматривать ее — мою деревянную родительницу: откинувшись безголовым телом назад, она застыла в дрящейся судороге родов. Это слишком напоминало. И иногда, когда я рассказывал ей о недавно прочитанных книгах, о фантомизме, который рано или поздно разрушит царство целей, потушит все эти блуждающие огни на болоте, — напряженный распял ее ног мешал мне додумать и досказать: ухватившись руками за концы ее обрубков, я пробовал свести их, но обрубки не слушались, грозясь новыми и новыми жизнями, — и чаще всего я обрывал свои размышления.

Пододвинулась новая зима. Дров хватило ненадолго. Я попробовал было, вместе с другими, подворовывать доски из соседского забора, но у меня не было сил срывать их с гвоздей, а стук топора вызвал бы тревогу. Идти и просить мне, вживню, у людей было бесполезно. А морозы лютели. Несколько дней кряду я собирал примерзшие к снегу щепки, но в них было больше льда, чем дерева. Тело мое стало синим, как ртуть, втиснутая стужей в донца уличных термометров. И в один из вечеров, когда в звездистые окна било ветром и струйки его, вдвухшись в щели, казалось, вот-вот сорвут с копилочного фитиля свет, — я разрубил и сжег ее: мать. Из печки, вместе с теплом, потянуло резиной и жженым волосом. Это все, что она могла дать: кроме жизни — как вы это называете. Не помню, как я досуществовал зиму. Сидя за слепыми стенами подвала, я не замечал, что вокруг все постепенно переиначивалось и перелицовывалось. У закопченных кирпичей нашего каре появились маляры; над провалами тротуаров внутри двора запахло свежим асфальтом; отверстия пуль в стеклах затянуло мастикой; снова залюднило пустые коридоры; осумереченные грязью окна опять впустили свет. Мне это все не подходило: не дожидаясь расспросов и разглядов — откуда и кто, — я ушел, выжился прочь, так же неприметно и тихо, как и вжился. Те, кто спустились ко мне, в затхлую клетку подвала, не могли в нем найти ничего, кроме связки ключей на столе да ряда пустых бутылей — из-под сулемы и спирта — в запаутиненном углу.

Я и скроен и шит неладно. Как видишь. От встреч с солнцем и дождями всякий раз начинаю ползти по швам и прокисать. Так и теперь. Я скоро дошел бы до мизерабельнейшего состояния, если б не случай. Как-то, когда я, прячась от дождевого захлеста, подобрался под навес крыльца, резко открылась дверь и, ударив меня в спину, сошвырнула по ступенькам вниз, в лужу. Подняв

голову, я увидел сощуренное лицо: у лица были благотворящие глаза и крохотная мушка на правой щеке. Тут же — под брызгами и грохотом желобов — я выгнал свои старые удостоверения и получил место рассыльного модной мастерской, которой заведовала подобрившая меня сострадательница. И вместо книг — я получил новую поноску — картонки и баулы — из улиц в улицы, от заказчиц к заказчицам. Легкие ткани в картонных коробках — это мне было еще под силу. В пути я, сколько мог, прятался под свои картонные груды; дойдя, не звонился у парадных, а шел по черной лестнице и, вдвинувшись в открытую мне дверь своими картонками, старался поскорее ретироваться. Но меня никогда и не замечали: под тесемками моих пакетов были запрятаны несложно сработанные тоже своего рода «фантомы», имитирующие тело, то полнящие, то утоняющие, вытягивающие и укорачивающие — короче — подделывающиеся под обаяние не хуже, чем я под жизнь. Я любил смотреть, втиснувшись куда-нибудь в темный угол, как ножницы и пунктирные машинки закройщиц бродят по бумажным плоскостям, выискивая корректную линию меж мечтой и фактом. В мастерской, под рядами крючьев, спадая с деревянных плечиков, всегда десятки газовых, шелковых, бархатных телооболочек: женщины — женщины — женщины. Запах клея, духов и пота. Этому гарему одежд нужен был свой евнух: что-нибудь безлицее и бесполое. Мужчина в этом мирке для опаутиниванья мужчин был преждевременен. Моя наружность, казалось, давала мне права на эту должность. Притом, когда я видел, как сантиметр ползает по оголенным торсам живых женщин, теплых и мягких, я не испытывал ничего, кроме отвращения и страха. Мы, фантомы, имеем свои вкусы и свое мнение о вашей так называемой любви.

— Вот как, — улыбнулся Склифский, — минуточку. Я сейчас.

Снова зазвенело стеклом о стекло. Склифский, сквозь синь рассвета, всочившегося в ночь, ясно видел близкое — глаза к глазам — лицо вживня: немигающие веки и сдавленный щипцовыми ложками лоб, липкая ротовая щель.

— Ну-ну, начнем с мнения, — пригнулся Склифский к вновь зашевелившейся дыре рта, — все усиливающийся кровавой гул в ушах глушил слова.

— Мнение мое сводится к тому, что вы, люди, несводимы. Вы только присутствуете, подглядываете свиданья призраков. Вы сначала придумываете друг друга. Этот в этой всегда любит ту, некий фантом, привносимый в его двуспинное и четырехрукое счастье. Поэтому-то всякий э т о т прежде, чем дать объятью втянуть себя, так или иначе защищает несуществующую т у от существующей э т о й. Самый вульгарный прием: ночь. Ведь большинство из вас любит сквозь темноту, когда манекен, лежащий рядом, можно облечь в какие угодно наипрекраснейшие тела, а тело — в наифантастичнейшую душу, этот фантазм фантазмов. Ваша смутная ночная ошупь разве не инъецирует мозг призрачностью и препарирует мечтательно грубую данность, как... Короче: оттого, что т у воображают, э т а рождает. И если...

— Постой-постой, — перебил Склифский, — что-то такое вот терлось мне уже о мозг. Как-то подумалось — так, случайно, — что акт любви, ну понимаешь, это обратное рождение: тянет назад, странно, туда, откуда тебя выгнано щипцами. И только. Я, кажется, запугался. В голове гуд.

И тотчас же, почти налипая лицом на лицо, Фифка подобрался ртом под самое ухо Склифского; вокруг глаз прыгали черные по сини пятна рассвета, воздух гу-

дел и прокалился непонятым жаром, но сквозь пятна и гул Склифский схватывал:

— Нет-нет, именно сейчас-то тебе и надо дослушать. Вот тут еще у донца. Не расплесни. Так. На чем мы остановились. Да, мое практическое отношение к любви. Я говорил уже, что все эти самки из мятого мяса были мне непонятны и даже страшны. Но над потолком мастерской, за семью поворотами витой лестнички я отыскал то, о чем не раз грезил за дверью своей тесной каморки: там, наверху, находился своего рода архив моделей. Ключ от него был у меня. По скрипучей витуше редко кто подымался наверх — к картонным подобиям. Но лучше было соблюдать осторожность. Время для моих тайных свиданий я выбирал всегда ночью, когда в мастерской никого и все двери на ключах. Тогда, со свечой в руке, я подымался по круженью ступенек: за отщелкнутой дверью я видел ряды женственных одноножек, молча подставлявших мертвые выгибы и выгибы тел под свет свечи. Я проходил мимо, не коснувшись ни одной. Там, в конце ряда, у стены слева ждала моя она. Поставив свечу на пол, я подступал к ней, грудью к груди. У нее не было рук — чтобы защищаться, и глаз — чтобы укорять. Под пальцами у меня скользили нежно очерченные холодные бедра, и о грудь мне терлись пустые выгибы грудей. Тонкая ножка жалобно и беспомощно скрипела, и мне казалось... но, понимаешь, по острию сладострастия меня вело не это, даже не это, а мысль — вот: перед тем, как родиться человеку, нужно, чтобы двое живых любили друг друга, — но перед тем, — слушай же, слушай, — перед тем, как человеку умереть, нужно, чтобы двое фантомов полюбили друг друга. И вот..

— Постой-постой, — Двудюд-Склифский поймал ладонью стену и хотел подняться, но черные пятна, множась и множась, слипались в тьму, — значит, ты пришел ко мне, чтобы...

Сквозь прорывы в тьме еще мелькнуло короткое движение Фифкина рта, но пятна опередили ответ: они сомкнулись и... собственно, можно б без «и», а просто — точку, и все; но традиция — не я ее начал, не я кончу — требует некоего литературного закругления и ссылки на источники. Извольте.

V

---

Амбулаторные больные, пришедшие — вместе со своими грыжами, сыпями и чирьями — на утренний прием к доктору Двулюд-Склифскому, долго дожидались, чинно вздыхая и поглядывая на дверь: ни шороха. Кого-то надоумило пройти к окнам соседнего домика, где жил доктор: может, заспал, а то уехал. Простояв с минуту лицом в стекло, разведыватель замахал рукой, как бы требуя подмоги. Еще через минуту за окном появилось множество лиц. Дверь была полуоткрыта. Вошли. Навстречу пахнуло сулемой и спиртом. На полу, обожженными ладонями и щекой в полуиссохлое сулемовое пятно, доктор. Подняли: глаза зажаты, но меж губ тормошится невнятица и все тело пронизано дрожью. Пациенты, переглянувшись, поставили диагноз: белая.

Я, собственно, и сам был лет девять тому пациентом доктора Двулюд-Склифского. Нас познакомил осколок гранаты, засевший в моем бедре. Доктор Склифский, пользовавший меня тогда, производил впечатление человека хмурого и как бы отдергивающегося от знакомств и встреч и вряд ли в последующие годы вспоминал обо мне, но я забывал медленнее: смутная боль, нетнет а возвращавшаяся в недолеченную рану, всякий раз тянула — вслед за собой — на ассоциативных нитях образ доктора Двулюда: длинное лицо, смелый разлет бро-

вей, спрятанные под рыжую обвись усов губы, жесткое и короткое прикосновение руки.

Совсем недавно, отыскивая в списках больных одной из московских лечебниц нужное мне имя, я наткнулся и на ненужное (так подумалось сперва): Двудюд-Склифский. После колебания я решил навестить больного, благо от койки его меня отделяло всего лишь несколько дверей. Склифский сразу же узнал меня, пожатие руки его было другим — мягче и длиннее, — и глаза, воспаленные и блестящие, как у всех горячечных, не только не отдергивались от меня, но... одним словом, зайдя на минуту, я просидел добрых два часа, пока сиделка не зашептала у меня над ухом, что больному долгие разговоры вредны. Я ушел, обещав вернуться и дослушать, так как в эту именно встречу Двудюд-Склифский и начал свой рассказ о встречах с фантомом.

Второе посещение дало мне конец истории. Правда, Склифский, успевший за три-четыре дня, пока мы не видались, сильно осунуться, — глаза точно опеплились, лицо завосковело, — говорил с запинкой, толчками, теряя нить, сквозь муть. Тем не менее, придя домой, я тотчас же взялся за запись. Вначале шло ничего, потом перо то тут, то там стало натекать на препятствия. Ведь мы, пишущая братия, получив факт, всегда так или иначе препарируем его, отыскиваем в нем ту вот «корректную линию» между данным и должным, как выражался двудюдовский призрак. В полученном факте меня несколько не интересовал коэффициент его реальности, — из работы меня выбивала структурная неправильность рассказа: например, мне нужно было уяснить постепенное очеловечивание Фифки, незаметный крен фантомизма в телеологию, выпадение их причин в цели, — что это — привнесено впоследствии, так сказать, вдуманно Двудюдом в свои ощущения, или дано самими ощущениями, в неотделимости от феномена?

За разрешением недоумений проще всего было отправиться к первоисточнику. Но в палату к Двудюду меня не пустили:

— Плох. Нельзя.

Отждав еще дня два-три, я повторил попытку. Не пускаясь в излишние расспросы, я прошел по больничному коридору к знакомой двери. Она была полуоткрыта. Навстречу — легкий сулемовый запах. Я вшагнул в палату: койка была пуста; под взбитой подушкой аккуратно заправленное одеяло, белый квадрат столика, придвинутый к изголовью, — и все. Позади шаги. Я обернулся: сиделка.

— Уже?

— Уже.

Вернувшись к рукописи, я — после некоторых колебаний — решил даровать ей аутентичность: пусть за каждое слово отвечает Двудюд-Склифский. Ему ничего не стоит оказать мне эту услугу: ведь он мертв.